

УДК 821.161.09"1917/1991-6

«ДЛЯ ТАКИХ ЛЮДЕЙ, КАК ОН, УБЕЖДЕНИЯ НЕ НУЖНЫ» (ЛЕВОЕ/ПРАВОЕ, ИДЕОЛОГИЯ И КУЛЬТУРА В ДНЕВНИКАХ КОРНЕЯ ЧУКОВСКОГО 1920-Х ГОДОВ)**И.Л. Савкина**Тамперский университет, 33100, Калевантие, 4, Тампере, Финляндия
irina.savkina@uta.fi

Анализируется идеологическая позиция К. Чуковского в его дневниках 20-х гг. в контексте рассмотрения специфики дневникового письма как в общежанровом, так и в индивидуально-авторском аспектах. Конфликт Чуковского, профессионального литератора и представителя «демократической интеллигенции», с советской властью, обнаруживаемый в его дневниковых записях, в статье определяется скорее как культурный, а не политический. Наряду с сознательным дистанцированием от советской действительности дневник фиксирует и процесс постепенного встраивания в нее, усвоения и присвоения незаметным для пишущего образом доминантных дискурсивных практик.

Ключевые слова: дневник, идеология, конформизм, демократическая интеллигенция, советское.

Цель статьи – проанализировать авторскую идеологическую позицию в дневниках Корнея Ивановича Чуковского первого послереволюционного десятилетия (настоящее имя – Николай Васильевич Корнейчуков, 1882—1969).

Чуковский представляется нам чрезвычайно интересной и репрезентативной фигурой для подобного анализа, так как являлся «классическим» профессиональным литератором: поэтом, публицистом, литературным критиком, переводчиком, детским писателем, литературоведом, журналистом, отцом двух писателей советского времени: Николая Чуковского и Лидии Чуковской. Он был известен как критик еще в начале XX в., трудно входил в послереволюционную жизнь, но в конце концов стал уважаемым, статусным и авторитетным советским автором, был награжден орденом Ленина (1957), тремя орденами Трудового Красного Знамени, а также медалями. В 1962 г. ему была присуждена Ленинская премия за книгу «Мастерство Некрасова».

Всю свою жизнь Чуковский вел дневник. Сохранившиеся тетради записей с 1901 по 1929 г. опубликованы в 1991 г. с некоторыми купюрами, но, как утверждает издатель, внучка автора Елена Цезаревна Чуковская, «описания литературных событий, а также политические суждения автора не подверглись сокращениям и изъятиям» [Чуковский, 1991, с. 474]. Дневники Чуковского являются, на наш взгляд, прекрасным материалом для анализа того, как позиционировал себя профессиональный литератор, «интеллектуальный пролетарий» [Там же, с. 251], как он сам себя однажды назвал, в революционные и послереволюционные (20-е) годы.

Корней Чуковский – незаконнорожденный ребенок, которого исключили из гимназии за низкое происхождение, самоучка и self-made man, считавший своими кумирами А.Чехова и Н. Некрасова, – безусловно, может быть назван представителем демократической интеллигенции в том смысле, в каком это понятие сформировалось в конце XIX – начале XX в., и потому его «казус» можно рассматривать как экзemplярную, в чем-то типичную ситуацию.

Но прежде чем перейти к анализу дневниковых записей Чуковского, необходимо коротко остановиться на проблеме жанра дневника и подходов к анализу дневникового дискурса.

Дневники бывают разные по своим функциям, целям, формам ведения записей [Волле, Гречаная, 2006; Зализняк, 2010; Егоров, 2003; Кобрин, 2003; Михеев, 2007; Савкина, 2007; Nussbaum, 1988; Paperno, 2004; Paperno, 2009, Smith, Watson, 2001], и существующее в обыденном сознании представление о дневнике как аутентичной, откровенной и абсолютно правдивой хронике персональной жизни и опыта в принципе не соответствует действительности. Степень правдивости и откровенности дневника — это всегда проблема, ибо любой автор пишет с определенной (хоть и нестабильной) точки зрения: видит, фиксирует и объясняет только то и только так, что и как позволяют его социально-исторический кругозор, личностно-психологические особенности и установки,

его состояние и настроение в момент письма. Кроме того, нельзя забывать о сознательной или бес-сознательной «самоцензуре»: о чем-то автор несомненно умалчивает по идеологическим, нравственным и другим соображениям, что-то он зачеркивает, вырывает, уничтожает. Это касается, конечно, автодокументов, связанных с трагическими или переломными периодами истории; дневников, написанных в обстановке возможных репрессий. В этом случае при анализе безусловно обостряются вопросы о том, в какой степени тексту можно доверять? Что не записано, что уничтожено, что изъято на разных этапах? Что пишется с оглядкой на возможного соглядатая? Какова позиция (идеологическая и не только) исследователя, читающего дневник, и как она влияет на способы чтения и интерпретации? Что исследователь «вчитывает» в дневник, зная будущее страны и автора текста?

Трудность интерпретации вытекает и из особенностей жанра: дневник процессуален, противоречив, нецелостен, люди плывут в потоке времени, испытывая воздействие тысячи разноплановых факторов одновременно, и далеко не все они зафиксированы в дневнике. И все-таки, как писала социолог и философ Н. Козлова, изучая эгодокументы, «входишь в поле проблем вклада индивидов в изобретение истории, одновременно пытаешься показать, каким образом история общества вписана в их язык и тело» [Козлова, 2005, с. 28]. Она замечает, что сказанное не обязательно происходит в формах рабского подчинения или героического сопротивления. Кроме этого, «люди <...> приспособляются и выживают, они ускользают от власти, потребляя ее по-своему с помощью жизненных практик, практик повседневности» [Там же, с. 176]. Дневник фиксирует эти разнородные практики и одновременно сам по себе является такой практикой «вписывания» в историческое время. Похожая точка зрения аргументированно представлена и в работе Й. Хеллбека о дневниках сталинского периода, где он показывает, как идеи и формы времени влияют на авторов дневниковых текстов, часто даже незаметно для их собственного сознания. Идеологическое напряжение существует не между государством, с одной стороны, и гражданином – с другой, но внутри самого гражданина [Hellbeck, 2009, p. 11], и это обнаруживают автотексты.

Все сказанное относится и к дневникам Чуковского. В его записях прямые идеологические высказывания, оценки или обсуждение собственной политической позиции достаточно редки. Чуковский-диарист – прежде всего наблюдатель, человек, глядящий со стороны, всем чужой. О своей «чужести», «отдельности» он сам не раз пишет в дневнике, например, в записи от 9 марта 1923 г.: «Страшно чувствую свою неприкаянность. Я – без гнезда, без друзей, без идей, без своих и чужих. Вначале мне эта позиция казалась победной и смелой, а сейчас она означает только круглое сиротство и тоску. В журналах и газетах – везде меня бранят, как чужого. И мне не больно, что бранят, а больно, что – чужой» [Чуковский, 1991, с. 240]. И в более ранних записях, когда самоанализа и самооценок было больше, чем в зрелые годы, молодой Чуковский не раз говорит о привлекательности позиции «над схваткой», «вне убеждений», «без пафоса»: (10.09.1904) «.. мой бог жизнь; все равно где, все равно какая – бессвязно плетущаяся – вне доктрин, вне наших систем, вне наших комментариев (так! – И.С.), вне нашего знания» [Там же, с. 23]; (11.09.1908) «Ужасно то, что я не несу никакого учения, не имею никакого пафоса» [Там же, с. 35]; (30.01.1911) «резких определяющих линий нет в моих чувствах» [Там же, с. 46].

Объектом наблюдения этого «соглядатая» процесса жизни является чаще всего литература и околολитературная жизнь. Он в основном не комментирует, а *фиксирует, описывает* (картины, сцены, детали), записывает чужие высказывания и диалоги и, если дает оценки, то скорее людям, персонам, но не идеям и политическим событиям. Да и интересуют его политические события гораздо меньше, чем литературные и семейные дела: (19.06.1917) «Совсем не сплю. И вторую ночь читаю "Красное и черное" Стендаля <...> Он украл у меня все утро. Я с досады, что он оторвал меня от занятий, швырнул его вон. Иначе нельзя оторваться — нужен героический жест; через пять минут жена сказала о демонстрации большевиков, произведенной в Петр[ограде] вчера. Мне это показалось менее интересным, чем измышленные страдания Жюльена, бывшие в 1830 г.» [Там же, с. 79].

Однако якобы нейтральные «сценки из жизни», конечно, несут информацию о позиции (идеологии) автора, которая присутствует в дискурсе описания, в языке. Например, в записи от 16 июня 1905 г., содержащей «сценку», связанную с восстанием на броненосце «Потемкин», можно понять, что симпатии молодого литератора скорее на стороне восставших: «Говорю я соседу, судейскому: пойдём в гавань, поглядим матроса убитого.– Не могу, говорит, у меня кокарда.

Пошел я один. Народу в гавань идет тьма. Все к Новому молу. Ни полицейских, ни солдат, никого. На конце мола – самодельная палатка. В ней – труп, вокруг трупа толпа, и один матрос, черненький такой, юркий, наизусть читает прокламацию, которая лежит на груди у покойного: "Товарищи! Матрос Григорий Колесниченко (?) был зверски убит офицером за то только, что заявил, что борщ плох <...> Отмстите тиранам. Осените себя крестным знаменем (– а которые евреи – так по-своему). Да здравствует свобода! " При последних словах народ в палатке орет ура! – это ура подхватывается сотнями голосов на пристани – и чтение прокламации возобновляется. Деньги сыплются дождем в кружку подле покойного; – они предназначены для похорон. В толпе шныряют юные эсде – и зывают к босякам: товарищи, товарищи! Главное, на чем они настаивают: не расходиться, оставаться в гавани до распоряжений, могущих придти с броненосца» [Там же, с. 25].

Идеологическая позиция автора записи выражена, например, в том, как *подробно* описывается поведение явно сочувствующей толпы, в том, *какие* эпитеты сопровождают героев: матрос «черненький, юркий», СД «юные». Противная сторона (полицейские, солдаты) – отсутствует, и позиция тех, кто против, оказывается совершенно непредставленной, а значит при отсутствии прямых авторских оценок позиция тех, кто «за», оказывается доминирующей, точнее, она является единственной изображенной.

Другой пример – запись от 7 ноября 1919 г.: «Мы беседовали о политике – и о моем безденежье. Они выразили столько участия – отчаянному моему положению (тому, что у меня шесть человек, к-рых я должен кормить), что в конце концов мне стало и в самом деле жалко себя. В прошлый месяц я продал все, что мог, и получил 90 000 рублей. В этом месяце мне мало 90 000 рублей, – а взять неоткуда ни гроша! – Сегодня празднества по случаю двухлетия Советской власти. Фотографы снимали школьников и кричали: шапки вверх, делайте веселые лица!» [Там же, с. 121]. Здесь комментария тоже нет, но процитированные призывы фотографов и описание сценки встык с рассказом о голоде и безденежье делают это изображение безусловно негативно окрашенным.

Второй излюбленный прием Чуковского – «передоверять» оценки и идеологические суждения объектам изображения, давать место «чужому слову», оставаясь якобы только фиксатором, пересказчиком чужих высказываний. Однако и здесь нейтральность достаточно мнимая: ведь важно, *чьи* слова и *какие именно* чужие слова он выбирает для записи и фиксации. В 1919 г. много записей высказываний М. Горького о новой власти. Негативные оценки этого писателя особенно авторитетны, потому что Горький сам имеет репутацию «большевика». (5.03.1919) «Ругают большевиков все – особенно большевик Горький. Черти! бюрократы! Чтобы добиться чего-нб., нужно пятьдесят неграмотных подписей» [Там же, с. 102]; (11.11 1919) «По моей инициативе был возбужден вопрос о питании членов литерат. коллегии. Никаких денег не хватает – нужен хлеб. Нам нужно собраться и выяснить, что делать. Горький откликнулся на эту тему и говорил с аппетитом. – "Да, да! Нужно, черт возьми, чтобы они либо кормили, либо – пускай отпустят за границу. Раз они так немощны, что ни согреть, ни накормить не в силах. <...> А провизия есть... есть... Это я знаю наверное... есть... в Смольном куча... икры – целые бочки – в Петербурге жить можно... Можно... Вчера у меня одна баба из Смольного была... там они все это жрут, но есть такие, которые жрут со стыдом..." и все в таком роде» [Там же, с. 122].

Интересно отметить, что в записях 18-го, 19-го, начала 20-х годов записываются чаще высказывания *против* большевиков (большевики, новая власть – всегда *они*), а позже появляются (фиксируются) высказывания, одобрительные по отношению к новой власти, например: (26.05 1922) «Чудесно разговаривал с Мишей Слонимским. "Мы – советские писатели, – и в этом наша величайшая удача. Всякие дрязги, цензурные гнеты и проч. – все это случайно, временно, и не это типично для советской власти. Мы еще доживем до полнейшей свободы, о которой и не мечтают писатели буржуазной культуры. Мы можем жаловаться, скулить, усмехаться, но основной наш пафос – любовь и доверие. Мы должны быть достойны своей страны и эпохи". Он говорил это не в митинговом стиле, а задушевно и очень интимно» [Там же, с. 210]; (10.04. 1925) «Я забыл записать о Сологубе: он, к удивлению, очень одобрительно отзывался о пионерах и комсомольцах. "Все, что в них плохого, это исконное, русское, а все новое в них – хорошо. Я вижу их в Царском Селе – дисциплина, дружба, веселье, умеют работать..." » [Там же, с. 336].

Анализ таких не прямых выражений собственной идеологической позиции показывает, что Чуковский в *первые послереволюционные годы* новую власть не любит и не принимает, представители этой власти и носители большевистской идеологии для него – *они*, чужие и чуждые. Почему?

Если он пытается быть аполитичным, то в чем его конфликт с властью? Кто в этом конфликте «левый», кто «правый»?

Пытаясь ответить на эти вопросы, нужно, на наш взгляд, особо маркировать два момента.

Когда Чуковский описывает свои встречи и разговоры с представителями новой власти, он последовательно подчеркивает те детали, которые позволяют видеть прежде всего лицемерие большевиков/коммунистов. Они никакие не левые, не разрушители буржуазных устоев – они глубоко буржуазны; это люди, которые дорвались до власти, чтобы получить привилегии, «буржуазную», сытую жизнь. Такая идея проступает особо отчетливо, потому что подобные описания соседствуют с многочисленными записями о царящей кругом и в собственной жизни автора разрухе, голоде, нужде и безденежье: (01.11.1919) «Возле нашего переулочка – палаая лошадь. Лежит вторую неделю. Кто-то вырезал у нее из крупа фунтов десять – надеюсь, на продажу, а не для себя. Вчера я был в Доме Литераторов: у всех одежда мягая, обвислая, видно, что люди спят не раздеваясь, укрываясь пальто. Женщины – как жеваные. Будто их кто жевал – и выплюнул. <...> Юрий Анненков – начал писать мой портрет. Но как у него холодно! Он топит дверьми: снимет дверь, рубит на куски – и вместе с ручками в плиту!» [Там же, с. 117]; (14.11.1919) «Обедал в Смольном – селедочный суп и каша. За ложку залогом – сто рублей. В трамвае – во «Всемирную» [Там же, с. 123]; (13.02.1921) «...опять идет бесхлебица, тоска недоедания» [Там же, с. 158].

А вот как описываются коммунистические лидеры, чиновники-коммунисты и близкие к их кругам литераторы: (04.02.1918) «Он (Луначарский. – И.С.) лоснится от самодовольства. Услужить кому-нб., сделать одолжение — для него ничего приятнее! Он мерещится себе как некое всесильное благодетельное существо – источающее на всех благодать <...>□ И тут же бегаёт его сынок Тоттоша, избалованный хорошенький крикун, который – ни слова по-русски, все по-французски, и министериабельно-простая мадам Луначарская – все это хаотично, добродушно, наивно, как в водевиле» [Там же, с. 89-90]; (12.01.1919) «У Горького был в четверг. Он ел яичницу – не хотите ли? стакан молока? Хлеба с маслом. Множество шкафов с книгами стоят не плашмя к стене, а боком... На шкафах – вазы голубые, редкие». [Там же, с. 99]; (18.04.1919) «Во второе свое посещение он (Горький. – И.С.) пригласил меня остаться завтракать. В кабинет влетела комиссарша Марья Федоровна Андреева, отлично одетая, в шляпке – "да, да, я распоряжусь, вам сейчас подадут"» [Там же, с. 110]; (02.01.1920) «Начну с Каплуна. Это приятный – с деликатными манерами – тихим голосом, ленивыми жестами – молодой сановник. Склонен к полноте, к брюшку, к хорошей барской жизни. Обитает в покоях министра Сазонова. У него имеется сытый породистый пес, который ступает по коврам походкой своего хозяина. Со мной Каплун говорит милостиво, благовольтельно. У его дверей сидит барышня – секретарша, типичная комиссариатская тварь: тупая, самомнительная, но под стать принципалу: с тем же тяготением к барству, шику, high life'у. Ногти у нее лощеные, на столе цветы, шубка с мягким ласковым большим воротником, и говорит она так: – Представьте, какой ужас, – моя портниха <...> Словом, еще два года – и эти пролетарии сами попросят – ресторанов, кокоток, поваров, Монте-Карло, биржу и пр. и пр. и пр.» [Там же, с. 136]; (24.11.1919) «Вчера у Горького, на Кронверкском. У него Зиновьев. У подъезда меня поразил великолепный авто, на диван к-рого небрежно брошена роскошная медвежья полость» [Там же, с. 129]; (22.12.1924) «Прошли в кабинет. Ионов в европейском костюме, в заграничной сорочке» [Там же, с. 298]; (25.01.1926) «Вчера был у Николая Эрнестовича Радлова. Когда я с ним познакомился, это был эстет из "Аполлона" <...> Теперь он к революции приклеился: вдруг оказался одним из самых боевых советских карикатуристов, халтурящих в "Бегемоте", в "Смехаче" и в "Красной". <...> Но как непохожа его жизнь на те "Смехачи", которых он – неотделимая часть. Великолепная гостиная, обставленная с изысканнейшим вкусом, множество картин и ковров, целая "анфилада" богато убранных комнат...» [Там же, с. 362].

Нет ни одного описания людей новой власти как прогрессистов и истинных революционеров, левых, они в высшей степени консервативно-буржуазны в своем поведении, в образе жизни, а значит, и в образе мысли, о чем бы они ни вещали публично с кумачовых трибун.

Одновременно эти люди для Чуковского безусловно *разрушители*, но разрушают они не буржуазный строй, а культуру, традиционный культурный уклад. Идеология Чуковского открыто литературоцентрична: для него искусство и культура – высшая ценность. Он не согласен с Блоком, который пишет и говорит о закономерности «крушения гуманизма». Для Чуковского, свободного от чувства дворянской «вины перед народом», разрушение старого (культуры) ничем не оправдано,

и прежде всего потому, что приводит не к созиданию чего-то лучшего или хотя бы качественно нового, а к торжеству мелкобуржуазной пошлости или/и хамского невежества. Новые люди, новые идеологи и учителя – люди, которые ничему (новому) научить не могут, потому что они сами недочки или неучи.

На эту тему в дневнике 20-х гг. огромное количество записей, например: (09.11.1919) «Мне почему-то показалось, что Горький – малодаровит, внутренне тускл, он есть та шапка, которая нынче по Сеньке. Прежней культурной среды уже нет – она погибла, и нужно столетие, чтобы создать ее. Сколько-нб. сложного не понимают. <...> Горький именно потому и икона теперь, что он не психологичен, несложен, элементарен» [Там же, с. 122]; (07.12.1919) «Прибыл комиссар красноармейских театров – который <...> курия, произнес речь о темной массе красноармейцев, коих мы должны просвещать. В каждом предложении у него было несколько "значит". "Значит, товарищи, мы покажем им Канто-Лапласовское учение о мироздании". Видно по всему, что был телеграфистом, читающим "Вестник Знания". И я вспомнил другого такого агитатора – перед пьесой "Разбойники" в Большом Драматическом он сказал: – Товарищи, русский писатель, товарищи, Гоголь, товарищи, сказал, что Россия это тройка, товарищи, и везут эту тройку, товарищи, – крестьяне, кормильцы революционных городов, товарищи, рабочие, создавшие революцию, товарищи, и, товарищи,— вы, дорогие красноармейцы, товарищи. Так сказать, Гоголь, товарищи, великий русский революционный писатель земли русской...» [Там же, с. 133-134]; (15.12.1919) «Был вчера на "Конференции Пролетарских Поэтов", к-рых, видит Бог, я в идее люблю. Но в натуре это было так пошло, непроходимо нагло, что я демонстративно ушел – хотя имел право на обед, хлеб и чай. Ну его к черту с обедом! Вышел какой-то дубиноподобный мужчина <...> и стал гвоздить: "буржуазный актер не понимает наших страданий не знает наших печалей и радостей – он нам только вреден (это Шаляпин-то вреден); мы должны сами создать актеров, и они есть товарищи, я, например..." А сам бездарен, как голенище. И все эти бездарности, пошлые фразеры, кропатели казенных клише аплодировали. Это было им по нутру. Подумать, что у этих людей был Серов, Чехов, Блок» [Там же, с. 135]; (24.05.1921) «Смеялись только в несмешных местах, относящихся к фабуле. Если так происходит в Петербурге, что же в провинции! Нет нашей публики. Нет тех, кто может оценить иронию, тонкость, игру ума, изящество мысли, стиль и т. д. <...> В антракте вышел немолодой блондин, сын Фофанова, Константин Олимпов, и, делая вид, что он бунтует, благополучно прокричал свои вдохновенные вопли о том, что он пролетарий, что он нарком всего мира и т. д. Публика визжала и хлопала — но в меру, словно по долгу службы» [Там же, с. 170]; (16.12.1923) «Вчера и третьего дня был в цензуре. Забавное место. Слонового вида угрюмый коммунист – без юмора – басовитый – секретарь. Рыло кувшинное, не говорит, а рывкает. Во второй комнате сидит тов. Быстрова, наивная, насвищенная <...> Кроме нее из цензурской вышли другие цензора – два студента, восточного вида, кавказские человеки, без малейшего просвета на медных башках. Кроме них, я видел кандидатов: два солдафона в бараньих шапках стояли перед Быстровой, и один из них говорил:

- Я теперь зубрю, зубрю и скоро вызубрю весь французский язык.
- Вот тогда и приходите,— сказала она.— Нам иностранные (цензора) нужны...
- А я учу английский,— хвастанул другой.
- Вот и хорошо,— сказала она. Тоска безысходная» [Там же, с. 253]

Единственный раз употребленное в дневниках за 1901—1929 гг. в качестве политического маркера слово «правый» относится к вопросу о цензуре: «Лилина и Натан Венгров «крайне правые в отношении детской литературы»¹ [Чуковский, 2008, с. 406].

Раннесоветская цензура — одна из основных тем записей в дневнике 20-х гг., потому что в это время Чуковский испытывал на себе ее чудовищное и логически необъяснимое для него, мыслящего о литературе внутри эстетических и культурных парадигм, давление. Коммунистические литчиновники и педагоги (во главе с Н. Крупской) запрещали не только критические и литературоведческие труды Чуковского, но и его детские стихи, которые, по их мнению, забивают советским детям голову всякими невероятными и вредными фантазиями в виде, например, говорящих зверей и насекомых. Цензура и советская педагогика прямо призывала на «борьбу с чуковщиной» и антропоморфизмом. При этом позиция большинства из «защитников советских детей», по мнению Чуковского, зафиксированному в его дневниках, не была сознательно идеологической (левой или правой), а была лицемерно-сервильной: (28.11. 1927) «...на другой или на третий день по приезде в

Москву я выступил в Инст. Детского Чтения в М. Успенском пер. Прочитал "Лепые нелепицы". Слушать меня собралось множество народу, и я еще раз убедился, как неустойчивы и шатки мнения педагогов. Около меня сидела некая дегенеративного вида девица – по фамилии Мякина – очень злобно на меня смотревшая. Когда я кончил, она резко и пламенно (чуть не плача от негодования) сказала, что книжки мои – яд для пролетарских детей, что они вызывают у детей только бессонницу, что их ритм неврастеничен, что в них – чисто интеллигентская закваска и проч. Говорила она хорошо, но все время дергалась от злобы, и мне даже понравилась такая яростная убежденность. После прений я подошел к ней и мягко сказал:

— Вот вы против интеллигенции, а сами вы интеллигентка до мозга костей. Вы восстаете против неврастенических стихов – не потому ли, что вы сами неврастеничка. Я ждал возражений и обид, но она вдруг замотала головой и сказала: "Да, да, я в глубине души на вашей стороне... Я очень люблю Блока <...> Я требую от литературы внутренних прозрений... Я интеллигентка до мозга костей..." В этой быстрой перемене фронта – вся мелкотравчатая дрянность педагогов. В прениях почти каждый придирался к мелочам и подробностям, а в общем одобрял и хвалил. <...> Каждый так или иначе говорил комплименты (даже Лилина), *и вместо своры врагов я увидел перед собою просто добродушных обывательниц, которые не знают, что творят. Они повторяют заученные речи, а чуть выбьются из колеи, сейчас же теряются и несут околесину*» (выделено мной. – И.С.) [Там же, с. 428–429].

Не только критики-педагоги, но и все новое искусство, которое ставилось на место отвергнутого и поощрялось властью, по Чуковскому – или невежественная дикость (пролетарские поэты), или продажная сервильность, или то и другое вместе. Вот характерная запись: (17.02.1926) «Видя, что о детской сказке мне теперь не написать, я взялся писать о Репине и для этого посетил Бродского Исака Израилевича. Хотел получить от него его воспоминания. Ах, как пышно он живет – и как нудно! Уже в прихожей висят у него портреты и портретики Ленина, сфабрикованные им по разным ценам, а в столовой – которая и служит ему мастерской – некуда деваться от "расстрела коммунистов в Баку". Расстрел заключается в том, что очень некрасивые мужчины стреляют в очень красивых мужчин, которые стоят, озаренные солнцем, в театральных героических позах. И самое ужасное то, что таких картин у него несколько дюжин. Тут же на мольбертах холсты, и какие-то мазилки быстро и ловко делают копии с этой картины, а Бродский чуть-чуть поправляет эти копии и ставит на них свою фамилию. Ему заказано 60 одинаковых "расстрелов" в клубы, сельсоветы и т.д., и он пишет эти картины чужими руками, ставит на них свое имя и живет припеваючи. Все "расстрелы" в черных рамах. При мне один из копировальщиков получил у него 20 червонцев за пять "расстрелов". Просил 25 червонцев. Сам Бродский очень мил. В доме у него, как и бывало прежде, несколько бедных родственниц, сестер его новой жены. <...> Чтобы содержать эту ораву, а также и свою прежнюю жену, чтобы покупать картины (у него отличная коллекция Врубеля, Малявина, Юрия Репина и пр.), чтобы жить безбедно и пышно, приходится делать "расстрелы" и фабриковать Ленина, Ленина, Ленина. Здесь опять-таки мещанин, защищая свое право на мещанскую жизнь, прикрывается чуждой ему психологией. Теперь у него был Ворошилов, и он получил новый заказ: изобразить 2 заседания Военных Советов: при Фрунзе, при Ворошилове. Для истинного революционера это была бы увлекательная и жгучая тема, а для него это все равно что обои разрисовывать — скука и казенщина, казенщина и скука» [Там же, с. 370]. В записи от 23 мая 1927 очень резко обличается лицемерие и невежественность рапповского историка русской литературы и цензора Войтоловского. «Он <...> никогда не читал лучших стихотворений Некрасова, и для него только тогда загорается литературное произведение, если в нем упомянуто слово рабочий или если путем самых идиотских натяжек можно привязать его так или иначе к рабочему, причем рабочий для него субстанция вполне метафизическая, так как он никогда его не видал, дела с ним никакого не имеет, любит его по указке свыше, кланяется ему как богу, во имя тех будущих благ, которых такие же Войтоловские лет 50 назад ожидали от столь же мистического "народа". Но вера в спасительную силу "народа" – тоже идолопоклонная – была благороднее: она не давала матерьяльных благ верующему, а здесь Войтоловские веруют по приказу начальства и получают за свою веру весьма солидную мзду. Тогда люди шли "в народ" – в кишачие тараканами избы, а теперь они благополучно сидят по шикарным квартирам и стучаются лбами пред умонепостижимым и трансцендентальным "рабочим" – ни в какие рабочие не идя» [Там же, с. 402–403].

Таким образом, анализ дневниковых записей позволяет утверждать, что конфликт Чуковско-

го с новой властью и с новым искусством – конфликт, конечно, идеологический, но его очень трудно оценить в категориях консервативное/ революционное, прогрессивное, правое/левое.

С одной стороны, Чуковский – консерватор и защитник традиционных ценностей и разрушаемого культурного уклада (правый), с другой – «новые» люди воспроизводят уклад еще более «старый»: буржуазный в самых его откровенно-бездуховных, диких формах или даже допросветительский, средневеково-невежественный. Они разрушают не буржуазный строй, а «устои», «церемонии», они уничтожают тот культурный слой, который создавался трудами всех прогрессивных слоев русского общества (и аристократией, и демократической интеллигенцией, и народом), и, значит, в своем конфликте с ними Чуковский антибуржуазен, т.е. он левый.

Однако сам Чуковский не считает себя борцом, человеком политической идеи – в отличие, например, от своей дочери Лидии, в будущем известной диссидентки, про которую (когда она была еще очень юной) отец записывает в дневнике: (26.08.1924) «Лида даже страшна своим интеллектуальным напором. Чувствуется в ней стиснутая стальная пружина, которая только и ждет, чтобы распрямиться. Она изучает теперь политграмоту – прочитала десятки книг по марксизму – все усвоила, перемолола, переварила, хочет еще и еще. <...> Англо-советская конференция – для нее событие личной жизни, она ненавидит Макдоналда, – словом, все черты мономании, к которой она очень склонна» [Там же, с. 286].

Черт «мономании» у самого Чуковского нет, более того, есть естественное для человека «чувство самосохранения» (ср.: «Я из чувства самосохранения не открыл им глаз» [Там же, с. 429]). В его дневнике во второй половине 20-х гг. появляются записи, содержащие иные, чем раньше, оценки новой власти: (27.06.1924) «В Сестрорецке. В пустой даче Емельяновой за рекой. <...> В курорте лечатся 500 рабочих – для них оборудованы ванны, прекрасная столовая (6 раз в день – лучшая еда), порядок идеальный, всюду в саду ящики "для окурков", больные в полосатых казенных костюмах – сердце радуется: наконец-то и рабочие могут лечиться (у них около 200 слуг). Спустя некоторое время радость остывает: лица у большинства – тупые, злые. Они все же недовольны режимом. Им не нравится, что "пищи мало" <...>; окурки они бросают не в ящики, а наземь и норовят удрать в пивную, куда им запрещено. Однако это все вздор в сравнении с тем фактом, что прежде эти люди задыхались бы до смерти в грязи, в чаду, в болезни, а теперь им дано дышать по-человечески <...> Глядя на "Дома для детей", на "Санатории для рабочих", я становлюсь восторженным сторонником Советской власти. Власть, которая раньше всего заботится о счастье детей и рабочих, достойна величайших похвал» [Там же, с. 277]; (31.12.1925) «Читаю газеты взапрос. Съезд не представляет для меня неожиданности. Я еще со времен своего Слепцова и Н. Успенского вижу, что на мелкобуржуазную, мужицкую руку не так-то легко надеть социалистическую перчатку. Я все ждал, где же перчатка прорвется. Она рвется на многих местах – но все же ее натянут гениальные упрямы, замыслившие какой угодно ценой осчастливить во что бы то ни стало весь мир. Человеческий, психологический интерес этой схватки огромен. Ведь какая получается трагическая ситуация: страна только и живет, что собственниками, каждый, чуть ли не каждый из 150 миллионов думает о своей курочке, своей козе, своей подруге, своей корове, или: своей карьере, своей командировке, своих удобствах, и из этого должно быть склеено хозяйство "последовательно-социалистического" типа. Оно будет склеено, но сопротивление собственнической стихии огромно. И это сопротивление сказывается на каждом шагу» [Там же, с. 355–356]; (17.01.1928) «Слонимский рассказывает, что несомненно некоторые неугодные книги нарочно не распространяются под воздействием политконтроля. Напр., "Конец Хазы" Каверина. Всю книгу нарочно держат на складе, чтобы она не дошла до читателя. Я думаю, что это не верно. "Конец Хазы" и сам по себе может не идти. Но что мы в тисках такой цензуры, которой никогда на Руси не бывало, это верно. В каждой редакции, в каждом изд-ве сидит свой собственный цензор, и их идеал казенное славословие, доведенное до ритуала. Поговорив на эти темы, мы все же решили, что мы советские писатели, т. к. мы легко можем себе представить такой советский строй, где никаких этих тягот нет, и даже больше: мы уверены, что именно при советском строе удастся их преодолеть» [Там же, с. 430].

Вениамин Каверин в предисловии к изданию дневников Чуковского пишет про последнюю запись: «И даже этот разговор кончается сентенцией, рассчитанной на то, что ее прочтут чужие глаза <...> Только страх мог продиктовать в тридцатых годах такую верноподданническую фразу» [Чуковский, 1991, с. 7].

Но эта запись сделана еще до того, как начались репрессии 30-х гг. Конечно, травля Чуков-

ского со стороны цензуры и прочие симптомы политических ожесточений провоцировали страх и заставляли работать инстинкт самосохранения. Но дело не только в этом. Критические по отношению к власти записи встречаются и позже. Однако очевидно, что Чуковский, как и большинство «бывших» литераторов, не был последователен. Он хотел жить и самореализовываться в новых условиях. Он сознательно и/или бессознательно старался вписаться в новое время, и этот процесс вписывания отражен в дневниках, вернее сказать, ведение дневника и становится одной из форм вписывания себя в советские формы идеологического, культурного и бытового поведения, что, конечно, не означает абсолютного приятия и одобрения последних.

К. Чуковскому постоянно и напряженно приходится бороться за свое место в жизни и в литературе. В этой борьбе неизбежны компромиссы, причем речь идет часто не только об идеологических и эстетических убеждениях, но и непосредственно о выживании, об ответственности за большую семью, что заставляет хлопотать о гонорарах, выбивать деньги по редакциям, устраивать в больницы смертельно больную младшую дочь и т.д. Для этого приходится «надевать маску», играть по предлагаемым правилам, как делают и другие, о чем в дневнике Чуковского есть многочисленные факты. Но происходит и вращение в советскую действительность, усвоение и присвоение ее дискурсивных практик, незаметным для пишущего образом.

Запись от 7 ноября 1923 г. начинается констатацией: «Годовщина революции» [Там же, с. 254], т.е. укореняется привычка мерить время новыми праздниками и датами.

В записи от 18 июля 1924 г. «Взяли мелкобуржуазную страну с самыми закоренелыми собственническими инстинктами и хотим ее в три года сделать пролетарской» [Там же, с. 280] автор употребляет глагол «хотим», а не «хотят», т.е., говоря о коммунистических преобразователях, употребляет форму «мы», а не «они». Описывая 17 июля 1925 г. водную прогулку с детьми, он между делом отмечает: «Посетили шалаш Ильича» [Там же, с. 343] – советские формулы уже существуют в его языке, они присвоены и употребляются автоматически.

Тема лицемерия и приспособленчества людей искусства, о которой подробно говорилось раньше, тоже немного модифицируется: Чуковский осуждает коллег за то, что они своим «маскарадом» дискредитируют революционные идеи, а значит последние получают статус истинных ценностей. Это можно было видеть и в некоторых приведенных цитатах, например, в записи о Бродском: «Здесь опять-таки мещанин, защищая свое право на мещанскую жизнь, прикрывается чуждой ему психологией. <...> Для истинного революционера это была бы увлекательная и жгучая тема, а для него это все равно что обоим разрисовывать — скука и казенщина, казенщина и скука» (выделено мною. – И.С.) [Там же, с. 370]. Или другой пример: (30.10.1927) «Я устал – ничего не делаю – хочется писать, а не умею. Я ненавижу отношение наших писателей к революции. Составил Союз Писателей плакаты, и среди них нет ни одного, который был бы неказенного содержания. Самые линии прямые и скудные – говорят о каких-то рабских казенных умах, которые без вдохновения по приказу развешивали флаги и гирлянды. Пошел я в "Дом Печати" – где должны были собраться писатели, ждал часа два, но пришли только Фроман, Наппельбаум, Всев. Рождественский и С. Семенов. Так как Фроман пришел по долгу службы, а Наппельбаум сию же минуту ушла, то оказалось всего 2 человека, к-рые пришли по доброй воле. В "Модпике" – та же история. Пришли только должностные лица, которые обязаны придти. Зато весь Госиздат налицо: Госиздат состоит из чиновников, котор. нагорит, если они не придут. Так, спасая свои животишки, люди 20-го числа, титулярные, требовали "Мирового Октября"» [Там же, с. 420]. Подробно записывая 7 сентября 1928 года разговор в поезде с молодым инженером, который очень критически («страшно») рассказывает о «безобразиях» на Днепрострое, автор в конце дистанцируется от его оценок: «Я слушал, но не очень-то верил ему, потому что, как талантливый человек, он чересчур впечатлителен» [Там же, с. 456].

Эти записи, как и приведенные отрывки, где Чуковский пытается найти позитивные моменты в происходящих на его глазах преобразованиях, свидетельствуют о том, что автор, как и многие другие люди его слоя и поколения, не только критически дистанцируется от нового времени, новых норм поведения и нового языка, но и уговаривает себя в их «нормальности», приемлемости, вживается в них и частично усваивает и присваивает их. Поэтому, как нам представляется, было бы большим упрощением считать, что «советское» в дневнике Чуковского — это всегда проявление лицемерия, что идея *притворства* проникает и в дневник, который как будто пишется человеку из органов «до востребования». Конечно, в возникшие в конце 30-х гг. времена тотальных репрессий

было естественно писать дневник «с оглядкой», уничтожать опасные страницы или вообще молчать². Однако в «Дневнике» Чуковского, как мы уже пытались показать, уже и в 20-е гг. можно найти немало свидетельств того, что советский дискурс адаптируется им, становится его собственным языком. То же можно обнаружить и в более поздних записях.

Конечно, как уже неоднократно отмечалось, позиция К. Чуковского сложна и не сводится к желанию приспособиться и «влиться в ряды». Он прекрасно видит, как власть манипулирует писателями и как литераторы со своей стороны используют возможности, предоставляемые им властью. Так было в дневниках 20-х гг., такие же примеры есть и в дневниках 30-х. Однако и сам автор дневника пользуется писательскими привилегиями; и он уговаривает себя в уместности новых идеологических и языковых практик. Наверное, можно назвать позицию Чуковского конформистской и, исходя из свойственной русской культуре бинарной парадигмы [Лотман, Успенский, 1977], требовать от него непримиримости и идеологического самосожжения. Но Чуковский, как и многие другие люди, зная, что «времена не выбирают, в них живут и умирают», прошел по жизни средним путем – путем компромисса. Вместе с тем его невозможно обвинить в сервильности, в абсолютном растворении в доминантном дискурсе, в его дневнике всегда есть некое отстранение, и отстранение позиция *инога*. Инаковость строится не на водоразделе левое/правое, а *на принадлежности к другой культурной традиции*. Для Чуковского это прежде всего традиция демократической интеллигенции, недаром главный герой его литературоведческих штудий – Н.А. Некрасов, который тоже имел опыт компромиссов с властью и совестью, но заслужил себе историческое имя совсем другим.

Примечания

¹ Интересно, что в более поздних мемуарах о Горьком Чуковский этих же людей назовет левыми, леваками, («как упорно он помогал нам, детским писателям, бороться с леваками-педологами» [Чуковский, 2008, с. 153].

² Дневник за 1937 г. занимает во втором томе опубликованных дневников 5 страниц, за 1938 – отсутствует, за 1939 – 1 страницу, за 1940 – 2.

Библиографический список

- Вьолле К., Гречаная Е. Дневник в России в конце XVIII – первой половине XIX в. как автобиографическая практика // Автобиографическая практика в России и во Франции / под ред. К. Вьолле, Е. Гречаной. М., 2006. С. 57–111.
- Зализняк А. Дневник: к определению жанра // Новое литературное обозрение. 2010. № 106. С. 162–180.
- Егоров О. Русский литературный дневник XIX века: История и теория жанра. М.: Флинта; Наука, 2003. 280 с.
- Кобрин К. Похвала дневнику // Нов. лит. обозрение. 2003. № 61. С. 288–295.
- Козлова Н. Советские люди: Сцены из истории. М., 2005. 544 с.
- Лотман Ю.М., Успенский Б.А. Роль дуальных моделей в динамике русской культуры (до конца XVIII века) // Тр. по рус. и славян. филологии. XXVIII: Литературоведение. Тарту, 1977. С. 3–36.
- Михеев М. Дневник как эго-текст (Россия, XIX – XX). М.: Водолей Publishers, 2007. 264 с.
- Савкина И. Разговоры с зеркалом и Зазеркальем: Автодокументальные женские тексты в русской литературе первой половины XIX века. М., 2007. 440 с.
- Чуковский К. Дневник 1901–1929 / подг. текста и ком. Е. Ц. Чуковской. М.: Сов. писатель, 1991. 541 с.
- Чуковский К. Современники: портреты и этюды. М., 2008. 656 с.
- Hellbeck J. Revolution on my Mind: Writing Diary under Stalin. Cambridge and al.: Harvard University Press; 2009. 448 p.
- Nussbaum F.A. Towards Conceptualizing Diary // Studies in Autobiography / ed. by James Olney. New York, Oxford: Oxford University Press, 1988. P. 128–140.
- Paperno I. What Can Be Done with Diaries // The Russian Review. 2004. No 63. Oct. P. 561–573.
- Paperno I. Stories of the Soviet Experience. Memoirs, Diaries, Dreams. Itaka, London: Cornell University Press, 2009. 285 p.
- Smith S. & Watson J. Reading Autobiography. A Guide for Interpreting Life Narratives. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001. 296 p.

Дата поступления рукописи в редакцию 05.07.2013

**"FOR PEOPLE LIKE HIM BELIEFS ARE NOT NECESSARY"
(LEFT/RIGHT, IDEOLOGY AND CULTURE IN KORNEY CHUKOVSKY'S DIARIES OF THE 1920s)**

I.L. Savkina

University of Tampere, 33100, Tampere, Kalevantie, 4, Finland
irina.savkina@uta.fi

The article analyses the realization of a writer's ideological position in Korney Chukovsky's diaries of the 1920s. Chukovsky is a representative object for such an analysis as he was a professional writer popular already before the revolution, a typical figure of the so-called "democratic intelligentsia".

Chukovsky wrote diaries throughout all his life. The article investigates the diary as a genre. The author pays attention to the problems of typological variety of diaries and to the question of the originality of Chukovsky's diary style. The analysis of the diaries shows that Chukovsky's distancing from the Communist regime had political rather than cultural reasons. The conflict with the new power cannot be described through the concepts of Progressive vs. Reactionary or Left vs. Right. The diaries also show how the ideology, the Soviet discourse and the Soviet rhetoric affected the private story of a person or, perhaps, how they controlled the very process of such a storytelling.

Key words: diary, ideology, conformism, democratic intelligentsia, the Soviet.

References

- Volle K., Grechanaya E.* Dnevnik v Rossii v kontse XVIII – pervoy polovine XIX v. kak avtobiograficheskaya praktika // Avtobiograficheskaya praktika v Rossii i vo Frantsii / pod red. K. Volle, E. Grechanoy. M., 2006. S. 57–111.
- Zaliznyak A.* Dnevnik: k opredeleniyu zhanra // Novoe literaturnoe obozrenie. 2010. № 106. S. 162–180.
- Egorov O.* Russkiy literaturnyy dnevnik XIX veka: Istoriya i teoriya zhanra. M.: Flinta; Nauka, 2003. 280 c.
- Kobrin K.* Pokhvala dnevniku // Nov. lit. obozrenie. 2003. № 61. S. 288–295.
- Kozlova N.* Sovetskie lyudi: Stseny iz istorii. M. 2005. 544 c.
- Lotman Yu.M., Uspenskiy B.A.* Rol' dual'nykh modeley v dinamike russkoy kul'tury (do kontsa XVIII veka) // Tr. po rus. i slavyan. filologii. XXVIII: Literaturovedenie. Tartu, 1977. S. 3–36.
- Mikheev M.* Dnevnik kak ego-tekst (Rossiya, XIX – XX). M.: Vodoley Publishers, 2007. 264 c.
- Savkina I.* Razgovory s zerkalom i Zazerkal'em: Avtodokumental'nye zhenskie teksty v russkoy literature pervoy poloviny XIX veka. M., 2007. 440 s.
- Chukovskiy K.* Dnevnik 1901–1929 / podg. teksta i kom. E. Ts. Chukovskoy. M.: Sov. pisatel', 1991. 541 s.
- Chukovskiy K.* Sovremenniki: portrety i etyudy. M., 2008. 656 s.
- Hellbeck J.* Revolution on my Mind: Writing Diary under Stalin. Cambridge and al.: Harvard University Press; 2009. 448 r.
- Nussbaum F.A.* Towards Conceptualizing Diary // Studies in Autobiography / ed. by James Olney. New York, Oxford: Oxford University Press, 1988. P. 128–140.
- Paperno I.* What Can Be Done with Diaries // The Russian Review. 2004. No 63. Oct. P. 561–573.
- Paperno I.* Stories of the Soviet Experience. Memoirs, Diaries, Dreams. Itaka, London: Cornell University Press, 2009. 285 p.
- Smith S. & Watson J.* Reading Autobiography. A Guide for Interpreting Life Narratives. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2001. 296 p.